

Пижоны с Новоаркадиевской

Из дневника

В то утро, как уже сказано, было тихо и прекрасно, и по-особому розово, как бывает только на рассвете, только весной и летом, только у нас на юге, где даже в умах молекул воздуха в эту пору царят мир и блаженство. Ну разумеется, а как же иначе.

Мы разучивали мудру.

Восточной традиции, что привела нас в столь ранний час, в то чудное место, уже много тысяч лет, а нашему увлечению ею — без году неделя.

Там, где в Новоаркадиевскую дорогу сверху от бульвара впадает улица Пионерская и убегает дальше вверх к ипподрому, была тогда еще раздольная площадь с могучим гранитным валуном, но не по центру, поперек всех течений, а по-умному, на траве на косогоре с северо-востока наискось от камышового болотца на другой стороне. Потом в гранит чугунными свайками вколотят мраморную доску с начертанным на ней обещанием возвести тут основателю Одессы генералиссимусу Суворову Александру Васильевичу его бронзовую всенепременно конную статую. Занятно все же б знать, куда деваются вдруг за ночь все клятвы с обещаниями? Где их строгий накопитель ко дню Страшного Суда? Ну, не могут же они, право, все без исключения и каких бы то ни было последствий растаскиваться по дачам да поместьям сильных мира сего под стать кованым решеткам с Французского бульвара? Должны же быть и другие версии.

Однако ж мы там медитировали.

Легко вам в это поверить или не легко, дело десятое. Или двадцать пятое, как хотите. Поскольку, если уже в этом месте вы, голуби мои, пробуксовываете, то слушать дальше для вас, думаю, занятие праздное — вряд ли пригодится. Могу лишь для убедительности уточнить, что нас двадцать пять: семнадцать парней и восемь девчонок. До бакинцев не дотянули, зато апостолов переплюнули.¹ Все мы дети военнослужащих и железнодорожников и живем в домах, построенных дивизиями наших отцов и одесско-кишиневской железной дорогой на трех углах последние деньки Ботанической улицы, которую вот-вот переназовут проспектом в честь пер-

¹ Бакинские комиссары — 26; апостолы — 12.

вого космонавта, что как раз на двенадцатый от сегодня день слетает благополучно куда следует и сверкнет на весь белый свет своей чудо-улыбкой, ибо год, пацаны, на дворе за номером 1961, мистический, со своими в обе стороны, туда-сюда, цифрами — вертели? — а в ноль часов по московскому начался апрель, и, кстати, за йогу еще сажать пока не додумались, потому хотя бы только, что никакой, по сути, йоги тут тогда еще, собственно, днем с огнем. И вот — повсюду, значит, ни слухом, ни духом, а в Одессе уже как здрастье. И будьте уверены.

Кто из нас наткнулся на эту затею первым, теперь точно не восстановишь (когда было!), — может быть, даже и я, в какой-нибудь там "Технике молодежи" или "Вопросах атеиста". Кто не забыл, наверное, помнит, как тогда удилась всякая информация: самым непредсказуемым образом; и на эту непредсказуемость даже нюх особый с фартом вызревали. Вот, к слову, "Стрелу Ваджра" и "Щит Шамбалы", мне впервые абсолютно точно подсунил Чжан Чжэнь-Цзы, китайский студент четвертого курса политехнического института. Так что, согласимся, дыхание жизни в Совке никогда полностью не затухало, а лишь переключалось с одних нетривиальных русл и каналов на другие. Помножьте это еще на отгремевший в Москве международный фестиваль молодежи и студентов, на "оттепель" на излете и вы получите нас медитирующими ни свет, ни заря на траве косогора в непосредственном соседстве с гранитной глыбой, а через площадь по ту ее сторону шелестит камышом будущий парк, где пока что ползают змеи и квакают лягушки, а на холмах пасутся поутру динамовские кони.

Определили мы себе это место наискось от болота, потому что кто-то из нас, может быть, даже и я, как раз увлекся лозохождением, и лоза в его (моих) руках без обиняков указала: hic Rhodus, hic salta¹, а попросту говоря: медитировать здесь! Неureka, если на то пошло. Эврика.

Старшему из нас семнадцать. Это, кажется, мне. А младшему девять. Это тоже, кажется, мне. Память, сами знаете, — вот так новость! — страннейшая штукавина. Фортелы выделяет такие, что куда там. И с одной стороны это именно мне два милиционера в синей форме с красными погонами на углу Дерibasовской и Карла Маркса, под "Антарктикой", ре-

¹ Hic Rhodus, hic salta [хик Родус, хик салта] (лат.) — некто хвалился необыкновенными прыжками на острове Родосе и в доказательство ссылался на свидетелей; один из слушателей заметил, что свидетели, если это правда, не нужны, и добавил: "здесь Родос, здесь прыгай".

со своей мадьярской породой, но также и в честь партизана из катакомб, спасшего дядю Жору в сорок третьем, когда оккупанты хотели его повесить на Куликовом поле, а Кришфалуди бросил в них гранату, и они с дядей Жорой убежали. А Фома был гордостью огромной динамовской голубятни, располагавшейся в несколько ярусов за забором позади главной трибуны, но лично я последний раз его видел в конце прошлой осени, и надо сказать, что за это время Фома еще набрал и в размерах, и в красе. Этих двоих от Ланжерона до Аркадии знали все, а моравиец, судя по всему, был пштрсом залетным.

В свите этой троицы гордо печатали шаг несколько кингов, пятерка дутьшей, красно-пегий ленточный турман, слева два махнача, справа два космача, каре двучубых в полунахлест с гривунами, далее трубачи бухарские в колонну по пять, впережку с бухарскими же в колонну по два барабанщиками, три блю рока, затем самолично ростовский лебедь во всей своей красе и свободе, а за ним уже — отрада глаз — целый выводок разномастных датчан и павлинианцев. Замыкала головную группу, как и положено, *Columbia livia* собственной персоной. Таким образом, передовая гвардия сразу определяла дух события не только разноцветьем пера, но также, и прежде всего, дисциплиной вкуса и четкостью поступи.

Красно-пегий ленточник, единственный в свите, шагал не как остальные, а удерживал в клюве на свой небрежный турмановский манер леску тройку на шесть килограмм, на конце которой довольно высоко, в метрах пяти с половиной над землей, раскачивался и плыл по воздуху весьма объемный шар литров на семьдесят с намалеванным на нем портретом Никиты Сергеевича Хрущева (какого-то лысого атлета).

А вослед своим предводителям тысячи и тысячи других птиц продвигались напористым и, тем не менее, весьма организованным порядком.

Впереди на правах хозяев шли одесские турманы числом до полуроты. Это, собственно, их голоса, такие похожие на нашу мантру, и звучали покуда громче других. Гуру-гуру-гуру и хар-харей-хари-хари-хар. За ними выступал батальон беспоясных чистых и черно-чистых, объединенных с чистыми оловянниками. А черно-чистые голоноженцы представили два отдельных взвода с неожиданными якобинами в кондукторах.

По левое и по правое крыло от каждой колонны по тротуару вдоль бордюра важно топали блюстителем птичьего порядка кайры черные обыкновенные с красными, как у дружинников, лапами, а в подмогу им рябки всякие со ржанками. Оно и понятно. Кайра ведь никогда голубем не был и не будет, сколько нас ни проси. Размер у него просто такой, под-

ходящий. И только. А что он при этом сам про себя думает, его личное дело. А не наше. Наше дело — верно классифицировать. А рябки со ржанками, так те вообще неизвестно кто, но не голуби, уж это точно. Тут не надо быть семи пядей, чтоб знать такое. Любого мальчика спросите — скажет не задумываясь: рябки со ржанками никакие на фиг не голуби, еще чего. Так что, само собой, этим бойким, без страха и упрека, не-голубям, кайрам со ржанками и рябками, конечно же, сподручнее, чем своим, осаживать натуральных голубей любого полета, если те, случись, разойдутся не к месту или не ко времени.

Один из нас сказал:

— До чего ж, ребя¹, у птиц все умно. Сколько этому ни удивляйся, а все не наудивляешься.

— Не трепись, — сказали ему. — Зачем болтать очевидное.

Разумеется, среди стражей на тротуаре попадались и в самом деле голуби натуральные — сизяки, к примеру, ташкентцы, видел даже вяхиря, — но это уж, как говорится, как водится. Птицы всякие нужны, птицы всякие важны. И в семье не без урода.

Кто-то из нас воскликнул:

— Смотрите, пацаны, вот Завихор тоже в мусора² подался!

Завихор был недюжинным клинтухом с бульвара, а компания наша в ту пору еще не разделилась на ментов³ и хулиганов, не до того пока было, мы ж как раз, если помните, йогой увлеклись.

— Ну, прямо сразу в мусора! — заступилась Вичка за уважаемого Завихора. — Ни в какие не мусора, а просто помогать вызвался. Вишь, как прут. Попробуй совладать.

Ей возразили, что не надо тут ни с кем "совлаживать", они ж сами себе управа, знают, что делают.

— Вот он как раз из тех, кто знает, — поддержала Вичку Натка.

— Правильно, — встрял Пеца. — Он сам управа, а не тихарь.

Сошлись на том, что уважаемый Завихор не имеет все же к блюстителям прямого касательства, а функционирует вдоль колонн в одном только добровольном качестве народного дружинника.

Когда спор улегся, с нами, уступившими дорогу, как раз поравнялась передовая гвардия. Тут же подскочил изрядно запыленный по черноте

¹ Ребя — (сокр.) ребята; не путать с общепринятым обращением к равнине.

² Мусор — (жарг.) милиционер.

³ Мент — (жарг.) то же, что "мусор".

крыла, сердитый от своей обыкновенности, залетный, судя по говору, из большого далека кайра с красными лапами и подбитым глазом и потребовал, чтобы мы убирались подальше.

— Мы ж не мешаем, — удивились мы дружно. — Проезжая вся ваша.

— Ну и что с того? — кайра заскрипел когтями по свежему, под скорый асфальт, гравию тротуара. — Вас здесь вообще быть не должно. Понятно?

Налетели со всех сторон десятка два рябок со ржанками:

— В сторону! В сторону!

— Прочь с дороги!

— И механизму на землю клади! — велел нам кайра. — А то, знаем мы вас...

И рябки наперебой:

— Знаем, знаем. Обязательно уроните.

И ржанки наперебой:

— А то обязательно возьмете да уроните.

И снова ржанки же:

— А то обязательно кого-то раздавите.

И рябки, как оглашенные:

— Раздавите! Вы ж раздавите! Нас раздавите!..

И только-только собрался кто-то из нашей братии и сестрии (может быть, даже и я или не я) ответить кайре насчет второго, пока еще неподбитого глаза, а рябкам со ржанками насчет всего остального, как от одесской колонны турманов, небрежно правым взмахнув крылом, отделился и подошел к нам турман Монька из голубятни братьев Арнольда и Германа со Среднефонтанской.

— Свои, — сказал он сердитому кайре. — Эти не уронят.

— А ты не лезь, — сказал ему кайра. — Не суй клюв куда не следует.

И ржанки с рябками наперебой затараторили ему в тон.

Чем бы это закончилось, еще не факт, но тут в оправдание, так сказать, финала нашего о нем диспута явился с той стороны, перелетев колонны, клинтух Завихор собственнокрыльно. Он приземлился, цокнув шпорами по гравию, и устоял на кайру, не замечая остальных. Рябки со ржанками вмиг заткнулись, и стал опять слышен дивный трепет воздушный, создаваемый колоннами шагающих птиц. Кайра набычился. Завихор выдержал паузу. А потом произнес:

— Эти не просто свои. А свои в доску.

— А почему я знаю? — уперся кайра. — У них что, на лбу написано?

Завихор повторил:

— Они свои в пух и прах. Понимаешь?

— Почему я знаю? — не уступал кайра. — Как по мне, так байстрюки они обыкновенные, вот кто, каких тут у вас в городе сплошные табуны, да и только. Вот затопчут, сами ж не рады будете.

Завихор сказал:

— Я сказал, вот ты и знаешь.

— Ты сказал?! — возмутился кайра. — А ты кто? Сказал — и след простыл. А мне отвечать!

Завихор положил тяжелую лапу кайре на грудь, стряхнул оттуда какой-то мусор и сжал черные перья в своих железных когтях.

— Я Завихор, — сказал Завихор. — Клинтух Завихор с Пролетарского бульвара. Слыхал?

Кайра на сей раз благоразумно промолчал.

— Иди, делом занимайся, — сказал ему Завихор и отпустил. — Не приставай к людям.

— Заступничков развелось, — проворчал сей блюститель и, уткнувшись клювом в перемятые перья, прошествовал далее, дабы не отстать от предводительской свиты, правый фланг которой он обеспечивал своим пониманием птичьего порядка. На ходу он ворчал себе в грудь: — И откуда только взялись. Ведь было ж условлено — ни души...

Завихор делово кивнул в нашу сторону, поздоровался с Мoneй и перелетел на свою сторону Новоаркадиевской.

Турман Моня дал ему удалиться на половину своей полуроты по той стороне вдоль кустов сирени и только после этого позволил себе обратиться к нам в своей обычной изысканной манере:

— Рад приветствовать вас, медам и мюсье, друзья и подруги, в сей торжественный и радостный день! А ведь правду сказывают, что кто рано встает, тому Бог дает.

— Это все йога, — сказали ему. — Мудры. Космическая энергия вечности. А так бы дрыхли.

— Но не дрыхнете ж, — метко заметил наш добрый турман, которого вообще-то звали Эммануилом, но, ясен день, его так никто не величал. — Главное не пропустите.

— А что тут главное? — спросили мы хором, потому что и впрямь знать хотелось.

— Да нет, вы не поняли, — смутился одесский турман Эммануил по паспорту, а по жизни Моня. — Я не то хотел сказать. Кто я такой, чтоб ра-

зуметь, что тут главное, а что второстепенное? Нет. Я имел в виду, дамы и господа, не "не пропустите главное", а главное — не пропустите. Улавливаете разницу?

— Ну что ж мы, совсем пальцем деланные? — сказали мы через одного. А через второго каждого мы воскликнули: — А, ну понятно, спасибо, тогда конечно!

Турман пожелал нам удачи и бросился догонять своих.

Тут к нам прямо из-под сереньких облаков, задержавшихся с ночи на макушке неба, слетели сразу два тучереза, Фелька и Филька, авторитетнейшие представители голубятни Кецы Вяземского с улицы Уютной.

— Привет, ребя!

— Привет, робя!⁷

— Привет, пацаны, — ответили мы. — А что вы не со всеми?

— Так надо ж и там поглядывать, — сказал Филька, задрав клюв в небо.

— Чтоб все было тип-топ, — пояснил Фелька. — Земля землей, а небеса небесами.

— А что за сход? Слет? Праздник? — спросили мы.

На что Фелька, знатный тучерез, только и молвил:

— Событие нечастое. Сами ж видите.

А знатный тучерез Филька добавил:

— Рекомендую: не пропустите.

А мы им:

— Так раз уже видим, то уже не пропустим?

— Вам виднее, — сказал Фелька. — А вообще всяко бывает.

И снова мы им:

— А что это?

И тогда Филька рассудил так:

— Вы, главное, не пропустите. А там видно будет.

Ну, тут мы хором:

— Чтоб вы были здоровы!!!

А Фелька с Филькой: — Наше вам с кисточкой! — и снова взмыли в небеса барражировать порученный им коридор.

Кто-то из нас, помолчав, спросил:

— Они что, голову нам морочат?

И остальные, фыркнув, возмутились, что можно подумать, будто этот

¹ Робя — то же, что "ребя"; тоже не путать.

кто-то с голубями впервые дело имеет; и вопрошавший или вопрошавшая вынужден(а) был (была) признать, что нет, не впервые, а как раз наоборот, с детства. И все стало на свои места. Утряслось.

За голоногими черно-чистыми двигалась сотня чернохвостых новочеркасцев, а белогрудые ростовчане составили в шахматном порядке общую с красногрудыми волжанами колонну по шестнадцать числом до пяти тысяч, и у них через каждый батальон вышагивал самолично ростовский лебедь, державший в клюве все ту же леску тройку на шесть килограмм, на конце которой в пяти метрах над землей плыли яркие шары с внушительными портретами импозантных героев революции.

То и дело к нам, нарушая порядки своих колонн, выскакивали знакомые: гривун Юрка из голубятни за сквером Девятого января, чеграши Севка и Сашка из-под Сабанеева моста и Венька с Тимкой и Борькой со Второй Заставы. Другие знакомцы, завидев нашу группу, колонн не покидали, а приветствовали нас радостным взмахом крыла изнутри своих пеших порядков, однако следует признать, что некоторая неразбериха при этом все же возникала, и пылюка шустро взметывалась у них и у нас над головами. И наконец старший, а ведь это мог быть и я, и вы, и кто угодно из нас, усмотрел в пребывании нашем на той обочине действительно (а ведь прав был кайра) некоторую гипотезу угрозы грандиозному пижонскому замыслу и предложил ретироваться, а вернее, передислоцироваться.

— Айда, робя, назад на косогор. Там их и встретим. А тут нас надолго не хватит. Каждому здрастье — и ноги протянешь.

С ним не спорили.

Дружно, пешими по-велосипедному обогнав вдоль обочины шествие во главе со свитой из колумбийской ливии собственной персоной, из кингов и блю роков, дутышей и турманов, махначей с космачами, барабанщиков из Бухары с бухарскими же трубадурами, ростовчанина во всем своем лебедином блеске и целого выводка датчан с павлинианцами под предводительством Фомы лучезарного с мадьярским великаном Кришфалуди и пштрсом из Моравии, вскочили мы в седла и припустили назад на площадь.

И только пригнав к месту своей медитации, где в низине все еще было пустынно и предрассветно, вдруг оценили всю мощь восторга, распиравшего наши юные сердца, и одни из нас приписали это йогическому воздействию новой мудры, а другие — голубиному шествию по нашему городу птиц со всех сторон света. Как бы то ни было, но прилив душевных сил

необычайный испытывал каждый из в то утро двадцати пяти мудрецов. Аминь.

Велосипеды легли в траву. Кто-то забрался на гранит валуна, кто-то к валуну прислонился, а некоторые даже снова устроились медитировать. И всех пронизывало торопливое чувство, что время на время остановилось или уж, во всяком случае, изрядно замедлило свой обычный бег.

— Смотрите, пацаны, пяти еще нет. Как же это?

— А так, что нет еще пяти. Вот как.

— Вот клёво!

— А ты думал!

— А ты думала!

Чудный трепет продолжал все грандиозней и все туже уплотнять пространство утра вокруг нас и нас в нем.

И тут я понял, что и тогда мне не чудилось, и сейчас есть как есть: гуру-гуру-гуру, хар-хар-хар, уахэй, уахэй, гуру. Это сверху от бульвара и от ипподрома с двух сторон по Пионерской сюда навстречу движутся еще голуби — тысячи, тысячи, тысячи голубей.

Бульварные колонны возглавлял римский тексан весьма необычного окраса и чудовищных размеров с задиристым по правое крыло от себя штрассером полуночником и польским рысом по левое, который по случаю события наел себе такой загривок, что, если б я не видел это собственными глазами, никому б в жизни ни за что б не поверил. Видывал я всяких польских рысов, но такого никогда. Все трое выступали величаво, со знанием дела. Все трое были нам не знакомы. По понятным причинам с мясными породами никто из нас дружбу водить особо не стремился. И Кришфалуди был исключением. Да его никто мясным и не считал. К нему относились как к любимцу дяди Жоры, а еще он сам по себе был славным малым, то бишь, великаном, всегда готовым помочь доставкой записки в любую точку города, включая Пересыпь и Лузановку, и уступал почтарикам только в скоростном аспекте, но никак не в смысле надежности. Был мадьярский великан и в свите римского тексана и выступал он тут шароносцем. Он легко удерживал в клюве на леске огромный над собою шар с изображением Чапаева без папахи. А, может, это даже был и не Чапаев, а сам основатель РККА товарищ Дыбенко, но все равно без папахи. Мадырец вышагивал в окружении свитских мальтийцев, испанских кингов и пштросов, а также там шли карьеры лазурные, пяток горлиц, три якобина, сводный оркестр витютеней с вяхирями и, наконец, ростовчане белогрудые в замыкающих числом до полутысячи. Первой ко-

лонной и в этом движении, как и в том, вслед за свитой выступал на правах хозяев полк одесских турманов, и оттуда нам из каждой роты, из каждого взвода уже махали всюю крыльями и славно улюлюкали.

Над рядами, продвигавшимися от ипподрома, раскачивался огромный шар с изображением Марии Жюлио-Кюри. Удерживал его в клюве на леске киевский светляк Агрипка. Он и вправду был прописан в Киеве, но у нас его как-то знали все, бывал налетами. Дело свое он исполнял на совесть, и шар над ним плавно продвигался в направлении площади. В этих порядках свиту возглавлял тоже не кто-нибудь, а сам пекинский крылобит полуметровый. Этого я знал только благодаря все тому же Чжань Чжень-Цзы, тогда еще второкурснику. Звали крылобита нарочно не придумаешь, и потому по просьбе наших товарищей китайское землячество переименовало его в Фуйку. Фуйка, между прочим, как и многие китайцы той поры, в общении был приятен донельзя. Сам в друзья не напрашивался, но дружить умел, как никто, великодушно. И вроде бы толку от такой дружбы с крылобитом из Поднебесной ну никакого, ан не скажите, как раз наоборот. И во главе престижно выступающих от ипподрома помпезных рядов и порядков рады были его мы видеть все от мала до велика.

— Привет, Фуйка! Авэ тебе. Медитурити те салютант!

Восторг наш рос и креп.

Аллилуйя.

По левое и по правое от пекинца крыло вышагивали два московских монаха — один черный, один кофейный. Это было не просто красиво, а очаровательно. Ай да вкус, ай да Восток. Гвардейцами тут шагали краснодарские бойные в перевязи с армавирцами, несколько линий цветнобоких северокавказцев в череду с кавказцами цветнохвостыми, линия русских чистых, за ними семь горлиц, два сизяка и сводное каре кингов с дутышами, внутри которого и продвигался упомянутый светляк Агрипка с леской в клюве. Вослед каре двумя укосами шествовал выводок махачей и выводок космачей. Замыкала гвардию важная-преважная Columbia livia собственной персоной. Что за птица! Куда ни поставь, всюду на высоте.

— Вот это самооценка, — сказал один из нас.

И никто ему не возразил. Заметили мечтательно, что на таком уровне, пожалуй, ни к чему даже медитировать, раз все и без того само собой одно к одному.

— Так это ж, пижоны, и есть медитация, — сказал кто-то авторитетно,

и это, к сожалению, помню, был не я; а хотелось бы. — А не морды корчить, — добавил этот кто-то, точно помню, не вы, и тут же Муська присочинила, что ей, кажись, эту самую Колумбию на днях подержать давали в зоомагазине на Советской Армии. Ха-ха. Но такой был общий настрой, что не стали Муську выводить на чистую воду, а продолжили в кайф созерцание того, что созерцалось.

Первым полком вслед Фуевому предводительству, как нетрудно догадаться, выступали одесские турманы. Завидев нас на косогоре, многие из них взмыли из рядов и совершили над валуном по кругу, а то и по два, почета, а некоторые и того больше. Старший турман подлетел к нам и, не приземляясь, а лишь оглушительно тормозя крыльями у нас над головами, в пуху и натуге, потребовал:

— Скажите им. Чтоб. Прекратили. Пусть вернутся. В строй. Перед гостями. Неудобно.

— Сам и скажи, — ответили ему. А другие сказали: — Пусть вернутся, кто ж не дает.

И он улетел ни с чем назад возглавлять свою непослушную колонну.

А нам было смешно. А нам было здорово.

— И все-таки, ребя, кайра был прав, — зафилософствовал кто-то, не хотелось бы, чтоб я. — Мы тут помеха, это факт. И мы тут, робя, угроза.

— А ты помалкивай, — сказали ему более просветленные товарищи, — и все обойдется. И ничего тебе не факт.

Вот она, сила мудр на рассвете.

Ай да мы!

За одесситами без обиняков выдвигались сразу три когорты бразильских дальномеров, каждая по тысяче молодых, а через просвет, заполненный батальоном чукотских пингвинистых, шли еще две когорты бразильцев, но не дальномеров, а крестолетных, а за ними рота альпийских вертикалов с полуротой егерских камуфляжных, а там уже не меньше дивизии гавайских выносливых, и еще памирские гнездовые с приданными им фанскими высотниками общим числом до пяти полков, рота бесстрашных везувийцев, взвод пещерных голубей с Калимантана, взвод тьяншаньских парашютистов и крупное соединение ложных шестикрыльников всех цветов радуги, а им по пятам ступали в несколько колонн пугливые горлицы, салатные кусаки из-под Антананариву, чайки шанхайские, чайки саксонские, пешая эскадрилья маньчжурских индиго и сводный корпус странников со всех концов земли в немереном количестве.

Не знаю, как вам, а мне даже вспоминать дух захватывает.

И все это грандиозное в три потока братство вытекало, вытекло, шагало, пришагало, надвинулось сюда на площадь перед нами и, заполнив ее до краев и через край, нет, не остановилось, а задержалось на время для чего-то более необходимого, чем просто вышагивание шаг за шагом, шаг за шагом. Кошнется, набухает. То ли заранее условлено, то ли команда неслышная отдана командирам от командиров, — не скажу, но только стали все три колонны, соприкоснувшись и переплетаясь головами, на диво складно, явив разумность недоказуемую.

Ай да голуби, ай да пижоны!

Вряд ли бы нам удалось уяснить хотя б столько, сколько удалось, если б, откуда ни возмись, не слетел к нам Завихор, бульварский клинтух, на сей раз в сопровождении таких же, как сам, опасных и твердых, а главное, что поразило нас окончательно, абсолютно незнакомых нам птиц. Только один из этой стаи отдаленно напоминал Босфорца, но это все равно, что вилами по воде, никаких гарантий. Сегодняшний я бы определил их как группу наведения, особая такая штучка в особых обстоятельствах. Но в то утро я мог только диву даваться да помалкивать в тряпочку. Завихор уселся меж нами на валун, — а прочие из его группы кто куда, но все кучно, — и снабдил нас необходимыми комментариями.

— Рты закройте, мальчики-девочки, — посоветовал он нам для начала. — Ворон тут, положим, не наблюдается, но какой-нибудь салага на радостях, глядишь, и влетит кому-то промеж зубов. Ха-ха.

Вот такой он, этот Завихор. Было чему поучиться.

Рты пришлось закрыть.

Завихор сказал что-то на непонятном, и тут же три птицы из его группы, метнувшись опретью по небу к центру площади, осуществили там впритирку к земле дивной красоты двенадцать пируэтов, по четыре каждый, у каждого свой, да для всех троих разные. В результате такого мероприятия там расчистился круг метров пяти в диаметре. Пируэтчики воротились и доложили на пиджине.

— Вижу, — сказал Завихор. — Благодарю.

И тогда в круг выступил Фома венценосец (вот экземпляр!) и, взмахнув при своих размерах крылами под стать кондору, исполнил по периметру выверенным шагом с подскоком и подлетом дивный танец-ритуал, а Кришфалуди с моравийцем аккомпанировали, и всяк, кто был там и видел то, дух имел перехваченным, а в сердце — восторг, да и только.

— Давайте так, — сказал нам Завихор без всякого лукавства. — Пусть один за всех говорит. Вот ты, например. Спрашивай. Только по-умному.

— Так все-таки что же это такое?

— Просил же, по-умному, — сказал Завихор. — Это ровно то, что вы видите. Дальше.

— А что Фома делает?

— Обозначил центр. Дальше.

А Фома тем временем, исполнив положенное, пригласил в круг красно-пегого ленточника из своей свиты, и тот, прошествовав гордо с шаром в обозначенный центр, замер на миг, а потом грациозно, насколько может быть грациозным такое простое действие, разжал клюв, и огромный шар с Никитой Хрущевым вздрогнул и приступил к величавому восхождению в небеса.

— А зачем вы Хрущева выпустили?

— Не, — сказал Завихор. — Это не Хрущев. Это Пабло Пикассо.

Тот из нас, кто спрашивал за всех, спросил:

— А он что, тоже такой?

— Какой?

— Ну, такой. Здоровый.

— Думаю, что да, — сказал Завихор. — Почему бы нет? Конечно.

К восходящему Пикассо взмыли тремя эскадрильями новоаркадийцы и сопроводили шар в небеса командными фигурами высшего пилотажа.

— Боже, как красиво! — воскликнула одна из девчонок, и ей даже никто не возразил.

Кто-то из нас обнаружил у себя в нагрудном кармане фланелевой куртки с короткой молнией до середины груди несколько белых в черную полоску семечек "лошадиная голова", крупнее обычных, и предложил их на радостях Завихору с его командой, но Завихор за всех, не без сожаления, однако ж, наотрез, отказался, мол, что за дела! при исполнении клевать не годится.

На смену Фоме венценосному в круг вошел предводитель бульварных колонн, тексан из Рима. Танец его брал за живое, под стать шаманской пляске. А вторили ему не на страх, а на совесть, свитский штрассер полуночник да польский рыс с заливком рекордсмена.

— А эти что?

— Центр обозначен, теперь его трамбуют.

— То есть как?

— Как видите.

В пропитанный клекотом восторга воздух, вовнутрь уплотненного счастьем трепета инородный звук с трудом проникает. И не сразу распоз-

наешь, что это. А это трамвай трезвонит. Пригромыхал сверху от бульвара и трезвонит, трезвонит, и в конце концов тормозит. Стал. Погряз в голубях. Кого раздавил, кто увернулся, отсюда не видно. Зато всем нам в розовых лучах восходящего солнца различимо до тонкостей очумелое лицо вагоновожатого с отвисшей челюстью. Совершенно ясно, что он застрял между сном и явью и ни в чем не уверен, а спросить некого, потому что вагон за ним пуст, а нас он в упор не видит, потому что глаз от птиц отвести не в силах. Да и что ему мы, ведь не докричишься.

Снизу, от Аркадии, тоже приполз трамвай, но никого не ущемил, и трезвона тут было в меру. Остановив свой транспорт на почтительном удалении, женщина вагоновожатая смотрела на происходящее, широко раскрыв глаза, но без экзальтации; у нее, вполне вероятно, был конец смены.

А тексан тем временем зазвал в круг своего мадьярца, и сей великан, исполнив ритуальное замирание с задраным в небо клювом, наконец разжал его, и шар, дрогнув, двинулся ввысь, а к нему устремились эскадрильи сопровождения.

— Чапаев? — спросил тот из нас, кто спрашивал.

— Не, — сказал Завихор. — Причем тут? Это ж Сальвадор Дали.

— **А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а¹**, — сказали мы все хором.

И задрали головы, чтоб рассмотреть портрет еще раз. И увидели, что эскадрильи сопровождения теперь заняты странным делом — мудреными пассажами по удержанию шаров на определенной высоте.

— Чего это они?

— Время, — сказал Завихор.

— Что — время?

— Оно требует терпения, внимания, точных действий.

Если б мы не знали друг друга с детства, то, наверное, снова бы пустились в протяжное "а" на двадцать пять голосов. А так промолчали. Ай да мы.

А в круг тем временем восшествовал пекинский крылобит Фуйка полуметровый. Его танец был не танец. Его танец был балет. Восточный, выпуклый, непостижимый. Даже Завихор с его особой командой наведения приосанились — недоказуемо, но, тем не менее как один. А ведь были там у него и мавританцы, и танганькиские злобные, и отвороты приполярные, да в общем, кого ни возьми, палец в клюв не положишь, а вот Фуйка взял да и пронял всех до единого своим выходом. Вторили ему, как мы по-

¹ Жирным шрифтом выделены "а" мальчиков.

мним, два монаха московских, черный да кофейный, и в такой они резонанс вошли, что просто удержу нет.

- А теперь что?
- Центр, — сказал Завихор. — Обозначен. Утрамбован. Завершен.
- То есть?
- То есть, исполнен. Чего тут не понять?!

Светляк Агрипка, Фуйкой приглашенный, взошел во круг, замер и выпустил шар.

- Складовская-Кюри?
- Не. Это Екатерина.
- Великая?
- Кому как, — сказал Завихор. — Фурцева это, пацаны, Фурцева¹.
- Да ты что?
- А я тут причем? — рассердился Завихор.

И тут дисциплина рухнула, и мы заговорили все разом.

- А мы тебе что?
- А мы тебе ничего.
- Просто спросили.
- Любопытно ж, елки-палки!
- Так вот она какая!
- А ты думал?
- Да ничего я не думал!
- Да ничего я не думала!

Были там и еще шары, много шаров, с изображенными на них портретами неизвестных, похожих на известных или ни на кого не похожих. Но только вот незадача, после третьего шара, с Екатериной, клинтух Завихор от дальнейших комментариев напрочь отказался.

— Не до вас, пацаны, — сказал он сухо и отлетел к своим. И оттуда молча наблюдал вместе с нами, как ловкие эскадрильи турманов и блю роков, выносливых гавайцев и бразильских дальномеров, да кого там только не было в том утреннем разнообразии, объединенные бесподобной летной выучкой, впрягли все три шара в небо над площадью в ковер из многоцветных лоскутов, лент и ленточек, перышек и перьев, переплели это богатство тугим узлом на всю свою голубиную совесть и только потом, по неслышной команде, наконец отпустили вовсе, и шары двинулись в вышину, дальше в небо, раскачиваясь и сверкая.

¹ Фурцева Е.А., министр культуры СССР.

Голуби на земле разом дружно захлопали крыльями. Было что послушать да на что посмотреть.

Мы чихнули.

— Не моют улицы, да? — сказал Завихор. — А надо бы.

Кому угодно, может усмотреть в сих словах иронию, но, ручаюсь, ее там в то утро не было и в помине. Все происходило буквально, а не в переносном смысле.

Завихор меж тем снова распорядился по-голубиному, и несколько его тучерезов да мавританец, да скандинав, да скалистых гор упредитель, да парочка кейптаунских тяжеловесов в компании с тасманийскими меткачами ринулись на бреющем в самый центр и ну там заново пируэтить — свечкарить да штопорить, да Бог знает что еще выписывать на невиданной прежде скорости, и все впритирку, и все на пределе.

Восхищаться на словах уже, честно говоря, слов не находилось. Восхищались молча.

И вот, послушное новому поводырству, попятным шагом через одного, а потом два через четыре, а после семеро через восемнадцать, честное собрание с площади, перестраиваясь на ходу в единую отныне колонну, двинулось в сторону Аркадии.

Впереди вышагивали все предводители разом в окружении свит переплетенных. Венценосец Фома, великан непревзойденный, по праву печатал поступь свою величаво по центру. По левое крыло от него, хоть размером уступчив, но движеньем умел, шествовал римский тексан, предводитель когорт бульварных. А по правое крыло от венценосца дробно, весело шагал крылобит ориентальный товарищ Фуйка. Завидев меня на косогоре, он трижды взмахнул крылом и подпрыгнул на каждой ноге поочередно. И вот поди определи, кривлялся он в кураже события, или действительно имел целью выразить в мой адрес почтение как знакомцу его незабвенного друга Чжан Чжень-Цзы.

Привет тебе, Фуйка!

Предводители скрылись из виду, а движение не прекращалось. Три колонны вливались в площадь, с ловкостью завораживающей совершали перепостроение и текли единопоточно дальше на Аркадию. То там, то тут в каждой из колонн встречались шароносцы. Каждый из них неизменно достигал центра, осуществлял там ритуальное замирание с заданным к небу клювом и отпускал шар, после чего, исполнивший, вливался в общие ряды, а шар, дрогнув, устремлялся в небо, в сферу забот эскадрилий сопровождения, которые, рискуя сшибить друг друга, продолжали вытво-

рять в небе над площадью что-то невероятное — какие-то шары эти асы вязали попарно, какие-то по три, и по пять, и по четыре, а другие отпускали ввысь самостоятельно. Усмотреть в их действиях какую-нибудь логику нам снизу не представлялось возможным, а Завихор продолжал казаться занятым и сурово помалкивать.

Шары прибывали. Эскадрилий в небе, соответственно, тоже прибывало. А по внешнему периметру всех уровней этого славно сочиненного и сложноподчиненного действия, опоясывая его, опушивая, барражировал непрерывно растущий караван черных с белыми бурнусами посланцев туарегов. И хоть всюду уже ныли шеи, но оторваться от того, что там происходило, никак нельзя.

— Такая красота, и ни одного пингвина, — брякает Вичка в преумножение восторга, как по мне, так очень даже к месту.

Но Завихор тверд и заточен:

— В том-то как раз и штука, — чеканит он, — что каждый тут сам себе и пингвин, и кенгуру, и тасманский дьявол. А гастролеры пролетают. Как фанера над Триумфальной Аркой.

Уяснить это нелегко. Постарайтесь хотя бы запомнить.

Кто-то из местных турманов или тучерезов подлетел к валуну нам на выручку, и сколько Завихор его взглядом ни тиранил, продержался, молодец, с минуту или около. Это он разъяснил нам шар с Иоанном.

— Каким еще Иоанном?! — озадачился тот, кто спрашивал.

А храбрый турман (не тучерез, а это был, по-моему, все же Данька с Пироговской, если не путаю) смерил нас нелестным взглядом, а после молвил:

— Ну, уж не с Иваном, надо полагать, Четвертым.

Пауза.

— И не евангелист это на шаре. Нет.

Еще пауза.

— А Иоанн, который и в Африке Иоанн. Предтеча, разумеется.

И тут тот, кто спрашивал, и, к счастью, это все-таки, кажется, не я, или почти не я, или не совсем тот, кого однозначно можно назвать мною, не выдержал и спросил:

— А кто это?

Пауза, королева всех пауз. Ваше величество!

Кто повесил ее? Да все разом, чего уж тут. А прервал все тот же турман, не тучерез. Он сказал:

— Сдается мне, любезные, что вскорости от вашего поколения останутся только рожки да ножки.

И с этими словами был таков.

С одной стороны он, положим, угадал в точку, а с другой, как видим, просчитался напрочь. В любом случае огорчить кого-то всерьез своим предсказанием в то утро храброму турману Даниилу не удалось. Разве что клинтух Завихор утвердился в чем-то своем пуще прежнего. А нам до всего, что нам предстояло, с того косогора было так далеко, что не видно. Зато восклицания наши по поводу новых лиц на шарах зазвучали теперь еще громче, еще нелепей.

— Да нет, говорю, это не Карл Маркс! Это Хемингуэй.

— У того свитер.

— Причем тут? Это ж портрет, а не фотография. Ну, нет свитера, так что?

— Ну, а то вон там Энгельс?

— Не думаю.

— А кто?

— Сезанн какой-нибудь. Я, кажись, робя, усек систему.

— Ну?

— Не Сезанн, так Мане с Моне или Гоген с Ван Гогом. Ну, не знаю. Не важно. У меня дома такие альбомы с репродукциями.

— У меня тоже.

— И у меня.

— Да до лампочки. Но не Энгельс. Понимаете? Вот что.

— Ага! Но вон ведь точно уже Чапаев!

— Нет, не точно. Точно нет. Это Фолкнер.

— Вильям Фолкнер?

— Нобелевский лауреат.

— Можно подумать!

— Ха, робя, а разве вон тот не Луначарский? Ведь точно Луначарский!

— Шекспир, балда. Шекспир.

— Вильям?

— Ага, лауреат Сталинской премии.

— Да ладно тебе.

— Точно, Шекспир. Один к одному.

— И мать его Гертруда.

Теперь, почти полвека спустя, я понимаю, что там, конечно же, должны были шариться или шароваться портреты и самого Андре Бретона, и Поля Элюара и иже с ними. Но внешность этих господ и поныне пред-

стает для меня загадкой, и, случись сегодня наткнуться на портрет без подписи, опять бы не распознал. Так что уж говорить про то безусое утро. Были? Не были? Должны были быть.

— А чего это он вдруг Фолкнер?! С таким же успехом скажу, это Пржевальский.

— Ни фигя!

— Чего это?

— А того это. Вон Пржевальский на том шаре, видишь? Вот это Пржевальский.

— Елки-палки! Похоже.

— И в самом деле Пржевальский.

— А с кем это они его вяжут? С Хрущевым? На этот раз Хрущев?

— Ну, может, и с Хрущевым. Во всяком случае не с Пикассо.

— А это уже третий лысый атлет. А второй кто был?

— Котовский.

— Ну, нет же. Сам говоришь, что не в системе.

— Ну, говорю. А на самом деле — что мы тут понимаем. Я так, с наскоку, в первом приближении.

— Ну, все равно не Котовский.

— А кто?

— Может, Филатов? Наш, глазной доктор.

— А может, еще кто-нибудь.

По поводу нескольких последних шаров меж нами разгорелся особенно жаркий спор, и Завихор не выдержал.

— Ну, будет вам, — сказал он. — Так орать спозаранку, никаких сил не хватит.

Мы перевели дух.

— Слушай сюда, — сказал Завихор. — Справа большой — это Тур Хейердал на Кон-Тики. Вон тот это Антон Чехов. Ясно? Стыдно. А вот этот вот — это Вася Кандинский. Наш, одессит. И баста.

Замыкающими во всех трех колоннах шли одесские турманы. Они водвинулись в площадь на всех парах, ловко перестроились, взмахнули разом левым крылом, прощаясь, взмахнули правым. Эскадрильи в небе распорядились последними шарами и, спикировав одна за одной, приземлились в центре. Здесь они выстроили своеобразный порядок, под стать узору на персидском ковре, имевший целью символизировать их особую, без разделений на породы, летную высшего пилотажа принадлежность, после чего, взмахнув крылами, небреж-

ным шагом пустились вослед турманам одесским и вскоре скрылись с наших глаз.

Трамвай снизу, ведомый усталой вагоновожатой, рванул на подъем и загромыхал, набирая скорость. Трамвай сверху медленно пополз за голубиным шествием вниз к Аркадии.

Клинтух Завихор цокнул когтями по граниту и расправил крылья.

— Тут все. Пора двигать.

Он окинул нас строгим взглядом.

— Вот и славно, — молвил он. — Честь имею, — и, подняв своих в крутом вираже, растворился в мгновение ока в ясном небе.

Тишина, какой свет не слыхивал.

А сбоку от этой тишины удаляется, гаснет хар-хар-хар, гуру-гуру-гуру. Семь, начало восьмого, а кажется, жизнь прожита.

Вдруг с холма над болотцем под стать всему под самое небо звонко, весело, но не в шутку, ржет молодой выспавшийся конь. И-го-го тебе, брат, и-го-го.

Мы разделились. Одни из нас, кто посвободней, отправились в Аркадию досматривать. А другие, кому в то утро предстоял обещанный маме поход за продуктами, мытье полов или еще что-нибудь, ну, например, если все же было не воскресенье, ведь не обязательно, то хотя бы первая смена в школе, первая пара в институте, начало рабочего дня, а если все же воскресенье, так мало ли еще чего удумает мир, дабы озаботить нас повседневностью, и вот эти, озабоченные, покатали домой. С кем был я, сказать не берусь. Если я отправился в Аркадию, то видел, как голуби, не нарушая порядков, шествовали по центральной балке, по молодой траве, минуя тротуары, достигали песчаного берега и там взмывали в небеса поротно и побатальонно, посотно, попятисотно, потысячно. Они совершали замысловатый круг, скорее восьмерку, над высоким рыжим обрывом с пограничной вышкой и затем устремлялись через залив в сторону Лузановки. Тень от их построений неслась вместе с ними, колышась, по сверкающим синим волнам. Дальнорюкьи утверждали, что видели и там Завихора, который со своей особой группой наведения продолжал выполнять в небе среди всей этой неразберихи, то в зените в вышине, то на бреющем над самой водой, какую-то немислимую нужную задачу. Потом оказалось, что честное птичье собрание, все эти тысячи, сотни тысяч голубей до единого, направляются не в Лузановку, а вовсе за горизонт. Кто-то сказал, в Крым. Почему, не знаю. Но я тоже это повторял, настойчиво, дабы обрести посреди той грандиозности хоть какую-то маленькую опору.

- В Крым подались. В район Судака.
- Ну, ясно. Там уже тепло.
- Так и у нас не холодно.
- А там теплее.
- Ясно, теплее. Крым же.
- Ага, не Сибирь.
- Так и у нас не Сибирь.
- Так вернутся ж.
- Вернутся?
- Ясен день, вернутся. Куда ж они денутся. Наши вернутся.
- Вот тогда и спросим толком.
- Точно. А то аж голова гудит. Может, выкупаемся?

Кто-то купался в холодных волнах, кто-то нет. Но воротившихся домой голубей, а они прибыли недели через две, никто никогда ни о чем уже не спрашивал. Не знаю, почему. Так вышло.

Если же я в то утро в Аркадию не поехал, а вернулся домой выполнять какую-нибудь обязанность, в таком случае я всего этого не видел, а мне потом рассказали, правильно? — и со временем я стал думать, что видел, вот, а на самом деле в тот момент покупал на Привозе курицу с овощами или писал мелом на доске, и ответственно мог утверждать только, что люди и события в тот и несколько последующих дней существовали в регистре более высоком и насыщенном, чем обычно. Потом говорили, что планета таким образом прихорашивалась перед первым полетом человека в космос. Вроде глупость, да? А с другой стороны, а что тут глупого?

Уж не глупее, чем все остальное.

Куда ни глянь.

И вот еще что. По себе знаю, у вас, конечно же, будет сильное искушение решить, что все тут изложенное чистой воды выдумка. Тогда ответьте себе на один-единственный вопрос: положи руку на сердце, вы всерьез полагаете, что такое можно выдумать? Да? Попробуйте. А я на вас посмотрю.

Мы же тем временем, те, кто стал в то утро случайным (или не случайным) свидетелем события, и кто умудрился пережить последующие тридцать-сорок-пятьдесят лет, с йогой и без йоги, с правдой и без нее, среди дважды и трижды переименованных улиц, собираемся теперь по пятницам в нашем кафе на углу двух проспектов. Мы его так и назвали Под Голубем, а на вывеске один из нас, не я и не ты, а некто Макар, примкнувший из сочувствующих, грандиозно намалевал живописнейшую блямбу

помета, но только мастерство его, сдается, опередило свое время, а может, и вообще люди в массе своей не очень наблюдательны, поскольку блямбу эту принимают то за вид Черного моря с высоты гагаринского полета, то за полуостров Крым, а то и просто путают с расхожим изображением цыпленка табака.

— А помните, — произносит кто-нибудь из нас вместо тоста, — как они шагали, а потом летели?

— Еще бы, — подхватываем. — Всей тучей в Крым.

— В залив Феодосийский.

— Куда?

— А куда?

Пауза.

С чувством, с хрустом, всем миром разом пожимаем плечами.

И кажется, игра эта никогда не надоеет.

Удачи нам, удачи вам, пижоны.

